

Ю.В. Лебедев

## Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)

Мастер сатиры .....	1
Детство, отрочество, юность и молодость Салтыкова-Щедрина .....	2
Вятский плен .....	3
Итоги вятской ссылки .....	3
Проблематика и поэтика сатиры «История одного города» .....	5
«Общественный» роман «Господа Головлевы» .....	8
«Сказки» .....	10

### Мастер сатиры

Даже внешний облик Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина поражает нас драматическим сочетанием мрачной суровости и затаенной, сдержанной доброты. Острым резцом прошлась по нему жизнь, испещрила глубокими морщинами. Неспроста сатира издревле считалась наиболее трудным видом искусства. «Блажен незлобивый поэт», – писал Некрасов. Но иную участь он пророчил сатирику:

Его преследуют хулы:  
Он ловит звуки одобренья  
Не в сладком ропоте хвалы,  
А в диких криках озлобленья.

Судьба сатирика во все времена была тернистой. Внешние препятствия в лице вездесущей цензуры заставляли его выражать мысли обиняками, с помощью всякого рода иносказаний — «эзоповским» языком. Сатира часто вызывала недовольство и у читателей, не склонных сосредоточивать внимание на болезненных явлениях жизни. Но главная трудность была в другом: искусство сатиры драматично по своей внутренней природе. На протяжении всего жизненного пути сатирик имеет дело с общественным злом, которое постоянно испытывает его душевные силы. Лишь стойкий человек может выдержать это каждодневное испытание, не ожесточиться, не утратить веры в жизнь, в ее добро и красоту. Вот почему классическая сатира — явление редкое. Имена сатириков в мировой литературе буквально наперечет. Эзоп в древней Греции, Рабле во Франции, Свифт в Англии, Марк Твен в Америке и Салтыков-Щедрин в России. Сатира возникает лишь на высоком взлете национальной литературы: требуется большая энергия жизнеутверждения, стойкая вера в идеал, чтобы удержать напряженную энергию отрицания.

Русская литература XIX века, возведенная, по словам Чернышевского, в достоинство общенационального дела, сосредоточила в себе мощный заряд жизнеутверждения и создала благодатную почву для появления великого сатирика. Не случайно Салтыков-Щедрин писал: «Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями». А Достоевский считал классическую сатиру признаком высокого подъема всех творческих сил национальной жизни:

«Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, — во имя негодующей любви к правде, истине... С какой, например, силой эта

способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрина и всей отрицательной литературе... Сила самоосуждения прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье».

Творчество Салтыкова-Щедрина, открывшего нам и всему миру вековые недуги России, явилось в то же время показателем нашего национального здоровья, неистощимых творческих сил, сдержанных и подавляемых, но пробивающих себе дорогу в слове, за которым, по неуклонной логике жизни, рано или поздно приходит черед и делу.

### **Детство, отрочество, юность и молодость Салтыкова-Щедрина**

Жизненные противоречия с детских лет вошли в душевный мир сатирика. Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Отец писателя принадлежал к старинному дворянскому роду Салтыковых, к началу XIX века разорившемуся и оскудевшему. Стремясь поправить пошатнувшееся материальное положение, Евграф Васильевич женился на дочери богатого московского купца О. Забелиной, властолюбивой и энергичной, бережливой и расчетливой до скопидомства.

Михаил Евграфович не любил вспоминать о своем детстве, а когда это волею неволей случалось, воспоминания окрашивались неизменной горечью. Под крышей родительского дома ему не суждено было испытать ни поэзии детства, ни семейного тепла и участия. Семейная драма осложнилась драмой общественной. Детство и молодые годы Салтыкова совпали с разгулом доживавшего свой век крепостного права.

«Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольною массою — к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин, — но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут униженного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным».

Юноша Салтыков получил блестящее по тем временам образование сначала в Дворянском институте в Москве, потом в Царскосельском лицее, где сочинением стихов он стяжал славу «умника» и «второго Пушкина». Но светлые времена лицейского братства студентов и педагогов давно канули в Лету. Ненависть Николая I к просвещению, порожденная страхом перед распространением свободолюбивых идей, обратилась прежде всего на лицей. «В то время, и в особенности в нашем “заведении”, — вспоминал Салтыков, вкус к мышлению был вещью очень мало поощряемою. — Высказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний». Все лицейское воспитание было направлено тогда к одной исключительно цели — «приготовить чиновника».

Юный Салтыков восполнял недостатки лицейского образования по-своему: он с жадностью поглощал статьи Белинского в журнале «Отечественные записки», а по окончании лицея, определившись на службу чиновником Военного ведомства, примкнул к социалистическому кружку М. Петрашевского. Этот кружок «инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда».

Но и здесь Салтыков обнаружил зерно противоречия, из которого выросло впоследствии могучее дерево его сатиры. Он заметил, что члены социалистического кружка слишком прекраснодушны в своих мечтаниях, что они живут в России лишь «фактически» или, как в то время говорилось, «имеют образ жизни»: ходят

в канцелярию на службу, питаются в ресторанах и кухмистерских... Духовно же они живут во Франции, Россия для них представляет собой «область, как бы застланную туманом».

В повести «Противоречия» (1847) Салтыков заставил своего героя Нагибина мучительно биться над разгадкой «необъяснимого феникса» — русской действительности, искать пути выхода из противоречия между идеалами утопического социализма и реальной жизнью, идущей вразрез с этими идеалами. Герою второй повести — «Запутанное дело» (1848) — Мичулину тоже бросается в глаза несовершенство всех общественных отношений, он также пытается найти выход из противоречий между идеалом и действительностью, найти живое практическое дело, позволяющее перестроить мир. Здесь определились характерные признаки духовного облика Салтыкова: нежелание замыкаться в отвлеченных мечтах, нетерпеливая жажда немедленного практического результата от тех идеалов, в которые он уверовал.

### **Вятский плен**

Обе повести были опубликованы в журнале «Отечественные записки» и поставили молодого писателя в ряд сторонников «натуральной школы», развивающих традиции гоголевского реализма. Но принесли они Салтыкову не славу, не литературный успех... В феврале 1848 началась революция во Франции. Под влиянием известий из Парижа в конце февраля в Петербурге был организован негласный комитет с целью «рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы». Правительственный комитет не мог не заметить в повестях молодого чиновника канцелярии Военного ведомства «вредного направления» и «стремления к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу». В ночь с 21 на 22 апреля 1848 Салтыков был арестован, а шесть дней спустя в сопровождении жандарма отправлен в далекую и глухую по тем временам Вятку.

Убежденный социалист в течение многих лет носил мундир провинциального чиновника губернского правления, на собственном жизненном опыте ощущая драматический разрыв между идеалом и реальностью. «...Молодой энтузиазм, политические идеалы, великая драма на Западе и... почтовый колокольчик. Вятка, губернское правление... Вот мотивы, сразу, с первых шагов литературной карьеры овладевшие Щедриным, определившие его юмор и его отношение к русской жизни», — писал В. Короленко.

Но суровая семилетняя школа провинциальной жизни явилась для Салтыкова сатирика плодотворной и действенной. Она способствовала преодолению отвлеченного, книжного отношения к жизни, она укрепила и углубила демократические симпатии писателя, его веру в русский народ и его историю. Салтыков впервые открыл для себя низовую, уездную Русь, познакомился с жизнью провинциального мелкого чиновничества, купечества, крестьянства, рабочих Приуралья, окунулся в животворную для писателя «стихию достолюбезного народного говора». Служебная практика по организации в Вятке сельскохозяйственной выставки, изучение дел о расколе в Волго-Вятском крае приобщили Салтыкова к устному народному творчеству.

«Я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни», —

вспоминал писатель о вятских впечатлениях.

### **Итоги вятской ссылки**

С демократических позиций взглянул теперь Салтыков и на государственную систему России. Он пришел к выводу, что «центральная власть, как бы ни была

просвещенна, не может обнять все подробности жизни великого народа; когда она хочет своими средствами управлять многообразными пружинами народной жизни, она истощается в бесплодных усилиях». Главное неудобство чрезмерной централизации в том, что она «стирает все личности, составляющие государство». «Вмешиваясь во все мелкие отправления народной жизни, принимая на себя регламентацию частных интересов, правительство тем самым как бы освобождает граждан от всякой самобытной деятельности» и самого себя ставит под удар, так как «делается ответственным за все, делается причиною всех зол и порождает к себе ненависть». Централизация в масштабах такой огромной страны, как Россия, приводит к появлению «массы чиновников, чуждых населению и по духу, и по стремлениям, не связанных с ним никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой».

Так образуется порочный круг: самодержавная, централизованная власть убивает всякую народную инициативу, искусственно задерживает гражданское развитие народа, держит его в «младенческой неразвитости», а эта неразвитость, в свою очередь, оправдывает и поддерживает централизацию. «Рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его». Но что делать сейчас? Как бороться с антинародной сущностью государственной системы в условиях пассивности и гражданской незрелости самого народа?

В поисках ответа на этот вопрос Салтыков приходит к теории, в какой-то мере успокаивающей его гражданскую совесть: он начинает «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма», внутри бюрократического аппарата.

«С этой целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник не прочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутовском русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь».

В «Губернских очерках» (1856–1857), ставших художественным итогом вятской ссылки, такую теорию исповедует герой, от имени которого ведется повествование и которому суждено стать «двойником» Салтыкова, — надворный советник Н. Щедрин. Общественный подъем 1860-х дает Салтыкову уверенность, что «честная служба» социалиста Щедрина способна подтолкнуть общество к радикальным переменам, что единичное добро, творимое в самом «капище антилиберализма», может принести некоторые плоды, если носитель этого добра держит в уме предельно широкий демократический идеал.

Вот почему и после освобождения из «вятского плена» Салтыков-Щедрин продолжает (с кратковременным перерывом в 1862–1864) государственную службу сначала в Министерстве внутренних дел, а затем в должности рязанского и тверского вице-губернатора, снискав в бюрократических кругах кличку «вице-Робеспьера». В 1864–1868 он служит председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани.

Административная практика открывает перед сатириком самые потаенные стороны бюрократической власти, весь скрытый от внешнего наблюдения потаенный ее механизм. Одновременно Салтыков создает циклы очерков «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы», в период сотрудничества в редакции «Современника» (1862–1864) пишет публицистическую хронику «Наша общественная жизнь», а в 1868–1869, став членом редколлегии обновленного Некрасовым журнала «Отечественные записки», публикует очерковые книги «Письма о провинции», «Признаки времени», «Помпадурсы и помпадурши».

Постепенно Салтыков изживает веру в перспективы «честной службы», которая все более превращается в «бесцельную каплю добра в море бюрократического произвола».

Реформа 1861 не оправдывает его ожиданий, а в пореформенную эпоху русские либералы, с которыми он искал союза, круто поворачивают вправо. В этих условиях Салтыков-Щедрин приступает к работе над одним из вершинных произведений своего сатирического творчества — «Историей одного города».

### **Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»**

Если в «Губернских очерках» основные стрелы сатирического обличения попадали в провинциальных чиновников, то в «Истории одного города» Щедрин поднялся до правительственных верхов: в центре этого произведения — сатирическое изображение взаимоотношений народа и власти, глуповцев и их градоначальников. Салтыков-Щедрин убежден, что бюрократическая власть является следствием «несовершеннолетия», гражданской незрелости народа.

В книге сатирически освещается история вымышленного города Глупова, указываются даже точные даты ее: с 1731 по 1826. Любопытный читатель, мало-мальски знакомый с русской историей, увидит в фантастических событиях и героях щедринской книги отзвуки реальных исторических событий названного автором периода времени. Но в то же время сатирик постоянно отвлекает сознание читателя от прямых исторических параллелей. В книге Щедрина речь идет не о каком-то узком отрезке отечественной истории, а о таких ее чертах, которые сопротивляются течению времени, которые остаются неизменными на разных этапах отечественной истории. Сатирик ставит перед собою головокружительно смелую цель — создать целостный образ России, в котором обобщены вековые слабости ее истории, достойные сатирического освещения коренные пороки русской государственной и общественной жизни.

Стремясь придать героям и событиям «Истории одного города» обобщенный смысл, Щедрин часто прибегает к анахронизмам — смешению времен. Повествование идет от лица вымышленного архивариуса эпохи XVIII — начала XIX века. Но в его рассказ нередко вплетаются факты и события более позднего времени, о которых он знать не мог. А Щедрин, чтобы обратить на это внимание читателя, нарочно оговаривает анахронизмы в примечаниях «от издателя». Да и в глуповских градоначальниках обобщаются черты разных государственных деятелей разных исторических эпох. Но особенно странен и причудлив с этой точки зрения образ города Глупова.

Даже внешний облик его парадоксально противоречив. В одном месте мы узнаем, что племена головопяпов основали его на болоте, а в другом месте утверждается, что «родной наш город Глупов имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается». Не менее парадоксальны и его социальные характеристики. То он является перед читателями в образе уездного городишки, то примет облик города губернского и даже столичного, а то вдруг обернется захудалым русским селом или деревенькой, имеющей, как водится, свой выгон для скота, огороженный типичной деревенской изгородью. Но только границы глуповского выгона соседствуют с границами... Византийской империи!

Фантастичны и характеристики глуповских обитателей: временами они походят на столичных или губернских горожан, но иногда эти «горожане» пашут и сеют, пасут скот и живут в деревенских избах, крытых соломой. Столь же несообразны и характеристики глуповских властей: градоначальники совмещают в себе повадки, типичные для русских царей и вельмож, с действиями и поступками, характерными для уездного городничего или сельского старосты.

Чем объяснить эти противоречия? Для чего потребовалось Салтыкову «сочетание несочетаемого, совмещение несовместимого»? Один из знатоков щедринской сатиры, Д. Николаев, так отвечает на этот вопрос: «В “Истории одного города”, как это уже видно из названия книги, мы встречаемся с одним городом, одним образом. Но это такой образ, который вобрал в себя признаки сразу всех городов. И не только городов,

но и сел, и деревень. Мало того, в нем нашли воплощение характерные черты всего самодержавного государства, всей страны».

Работая над «Историей одного города», Щедрин опирается на свой богатый и разносторонний опыт государственной службы, на труды крупнейших русских историков: от Карамзина и Татищева до Костомарова и Соловьева. Композиция «Истории одного города» — пародия на официальную историческую монографию типа «Истории государства Российского» Карамзина. В первой части книги дается общий очерк глуповской истории, а во второй — описания жизни и деяний наиболее выдающихся градоначальников. Именно так строили свои труды многие современные Щедрину историки: они писали историю «по царям». Пародия Щедрина имеет драматический смысл: глуповскую историю иначе и не напишешь, вся она сводится к смене самодурских властей, массы остаются безгласными и пассивно покорными воле любых градоначальников. Глуповское государство началось с грозного градоначальнического окрика: «Запорю!» Искусство управления глуповцами с тех пор состоит лишь в разнообразии форм этого сечения: одни градоначальники секут глуповцев без всяких объяснений — «абсолютно», другие объясняют порку «требованиями цивилизации», а третьи добиваются, чтоб сами обыватели желали быть посеченными. В свою очередь, в глуповской массе изменяются лишь формы покорности. В первом случае обыватели трепещут бессознательно, во втором — с сознанием собственной пользы, ну а в третьем возвышаются до трепета, исполненного доверия к властям!

В описи градоначальников даются краткие характеристики глуповских государственных людей, воспроизводится сатирический образ наиболее устойчивых отрицательных черт русской истории. Василиск Бородавкин повсеместно насаждал горчицу и персидскую ромашку, с чем и вошел в глуповскую историю. Онуфрий Негодяев разместил вымощенные его предшественниками улицы и из добытого камня настроил себе монументов. Перехват-Залихватский сжег гимназию и упразднил науки. Уставы и циркуляры, сочинением которых прославились градоначальники, бюрократически регламентируют жизнь обывателей вплоть до бытовых мелочей — «Устав о добропорядочном пирогах печении».

Жизнеописание глуповских градоначальников открывает Брудастый. В голове этого деятеля вместо мозга действует нечто вроде шарманки, наигрывающей периодически два окрика: «Раззорю!» и «Не потерплю!» Так высмеивает Щедрин бюрократическую безмозглость русской государственной власти. К Брудастому примыкает другой градоначальник с искусственной головой — Прыщ. У него голова фаршированная, поэтому Прыщ не способен администрировать, его девиз — «Отдохнуть-с». И хотя глуповцы вздохнули при новом начальстве, суть их жизни изменилась мало: и в том, и в другом случае судьба города находилась в руках безмозглых властей.

Когда вышла в свет «История одного города», критика стала упрекать Щедрина в искажении жизни, в отступлении от реализма. Но эти упреки были несостоятельны. Гротеск и сатирическая фантастика у Щедрина не искажают действительности, а лишь доводят до парадокса те качества, которые таит в себе любой бюрократический режим. Художественное преувеличение действует подобно увеличительному стеклу: оно делает тайное явным, обнажает скрытую от невооруженного глаза суть вещей, укрупняет реально существующее зло. С помощью фантастики и гротеска Щедрин часто ставит точный диагноз социальным болезням, которые существуют в зародыше и еще не развернули всех возможностей и «готовностей», в них заключенных. Доводя эти «готовности» до логического конца, до размеров общественной эпидемии, сатирик выступает в роли провидца, вступает в область предвидений и предчувствий. Именно такой, пророческий смысл содержится в образе Угрюм-Бурчеева, увенчивающем жизнеописание глуповских градоначальников.

На чем же держится деспотический режим? Какие особенности народной жизни его порождают и питают? «Глупов» в книге — это особый порядок вещей, составным элементом которого является не только администрация, но и народ — глуповцы. В «Истории одного города» дается беспримерная сатирическая картина наиболее слабых сторон народного мирозерцания. Щедрин показывает, что народная масса в основе своей политически наивна, что ей свойственны неиссякаемое терпение и слепая вера в начальство, в верховную власть.

«Мы люди привышные! — говорят глуповцы. — Мы претерпеть можем. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!» Энергии, администрирования они противопоставляют энергию бездействия, «бунт» на коленях: «Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь, хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!» — «С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие, — мы не то что прочие, которые телом обросли! Нас, брат, и уколупнуть негде». И упорно стояли при этом на коленях».

Когда же глуповцы берутся за ум, то, «по вкоренившемся исстари крамольническому обычаю», или посылают ходока, или пишут прошение на имя высокого начальства. «Ишь, поплелась! — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль, — теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!» И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? — то отвечали: «Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!»

В сатирическом свете предстает со страниц щедринской книги «история глуповского либерализма» (свободомыслия) в рассказах об Ионке Козыреве, Ивашке Фарафонтьеве и Алешке Беспятове. Прекраснодушная мечтательность и полная практическая беспомощность — таковы характерные признаки глуповских свободолюбцев, судьбы которых трагичны. Нельзя сказать, чтобы глуповцы не сочувствовали своим заступникам. Но и в самом сочувствии сквозит у них та же самая политическая наивность: «Небось, Евсеич, небось! — провожают они в острог правдолюбца, — с правдой тебе везде жить будет хорошо!» «С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только “старатели” русской земли».

Когда по выходе в свет «Истории одного города» критик А. Суворин стал упрекать сатирика в глумлении над народом, в высокомерном отношении к нему, Щедрин отвечал:

«Рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчевых, то о сочувствии не может быть и речи... Что же касается “народа” в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности».

Заметим, что картины народной жизни все же освещаются у Щедрина в иной тональности, чем картины градоначальнического самоуправления. Смех сатирика здесь становится горьким, презрение сменяется тайным сочувствием. Опираясь на «почву народную», Щедрин строго соблюдает границы той сатиры, которую сам народ создавал на себя, широко использует фольклор.

«История одного города» завершается символической картиной гибели Угрюм-Бурчеева. Она наступает в момент, когда в глуповцах заговорило чувство стыда и стало пробуждаться что-то похожее на гражданское самосознание. Однако картина бунта вызывает двойственное впечатление. Это не грозная, освежающая стихия, а «полное гнева *оно*», несущееся с Севера и издающее «глухие, каркающие звуки». Как все губящий, все сметающий смерч, страшное *«оно»* повергает в ужас и трепет самих

глуповцев, падающих ниц. Это «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а не сознательный революционный переворот.

Такой финал убеждает, что Салтыков-Щедрин чувствовал отрицательные моменты стихийного революционного движения в крестьянской стране и предостерегал от его разрушительных последствий. Угрюм-Бурчеев исчезает в воздухе, не договорив известной читателю фразы: «Придет некто за мной, который будет еще ужаснее меня». Этот «некто», судя по «Описи градоначальников», — Перехват-Залихватский, который въехал в Глупов победителем («на белом коне!»), сжег гимназию и упразднил науки! Сатирик намекает на то, что стихийное возмущение может повлечь за собой еще более реакционный и деспотический режим, способный уже остановить само «течение истории».

Тем не менее книга Щедрина в глубине своей оптимистична. Ход истории можно прекратить лишь на время: об этом свидетельствует символический эпизод обуздания реки Угрюм-Бурчеевым. Кажется, что правящему идиоту удалось унять реку, но ее поток, покрутившись на месте, все-таки восторжествовал: «остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах». Смысл этой сцены очевиден: рано или поздно живая жизнь пробьет себе дорогу и сметет с лица русской земли деспотические режимы угрюм-бурчеевых и перехват-залихватских.

Благодаря своей жестокости и беспощадности, сатирический смех Щедрина в «Истории одного города» имеет великий очистительный смысл. Надолго опережая свое время, сатирик обнажал полную несостоятельность существовавшего в России полицейско-бюрократического режима. Незадолго до первой русской революции другой писатель, Лев Толстой, говоря о современной ему общественной системе, заявлял: «Я умру, может быть, пока она не будет еще разрушена, но она будет разрушена, потому что она уже разрушена на главную половину в сознании людей».

### **«Общественный» роман «Господа Головлевы»**

В конце 1860-х – начале 1870-х Салтыков-Щедрин в ряде своих критических работ утверждал необходимость появления в русской литературе нового «общественного» романа. Он считал, что старый любовный, семейный роман исчерпал себя. В современном обществе подлинно драматические конфликты все чаще и чаще обнаруживаются не в любовной сфере, а в «борьбе за существование», в «борьбе за неудовлетворенное самолюбие», «за оскорбленное и униженное человечество». Эти новые, более широкие общественные вопросы настойчиво стучатся в двери литературы.

«Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма началась среди уютной обстановки семейства, а кончилась... получением прекрасного места, Сибирью и т. п.».

По мнению Салтыкова-Щедрина, «разрабатывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немыслимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земского деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора». Если в старом романе на первом плане стояли вопросы «психологические», то в новом — «вопросы общественные».

К «общественному» роману Салтыков-Щедрин вплотную подошел в «Господах Головлевых» (1880). В распаде буржуазной семьи писатель одновременно с Толстым и Достоевским увидел верные признаки тяжелой социальной болезни, охватившей русское общество. Головлевы, равно как и Карамазовы у Достоевского, далеко не похожи на патриархальных дворян типа Ростовых или Болконских в толстовской «Войне и мире». Это люди с иной, буржуазно-потребительской психологией, которая торжеству-



ет во всех их мыслях и поступках. Теме дворянского оскудения Щедрин придает новый, неожиданный поворот. Его современники сосредоточивали внимание на экономическом оскудении дворянских гнезд. В «Господах Головлевых» акцент на другом: они легко приспособились к пореформенным буржуазным порядкам и не только не разоряются, а стремительно богатеют. Но по мере их материального преуспевания в собственнической душе совершается страшный процесс внутреннего опустошения, который и интересует Щедрина. Шаг за шагом прослеживает он этапы духовной деградации всех своих героев и в первую очередь — Порфирия Головлева, судьба которого находится в центре романа.

Благонамеренная речистость свойственна Порфирию Головлеву с детских лет. Это «медоточивое» умение приласкаться к «милому другу маменьке» с помощью липких, как паутина, елейных слов. Ими герой, прозванный Иудушкой, прикрывает свои эгоистические цели. Щедрин исследует в романе истоки пустословия Иудушки, различные его формы и внутреннюю эволюцию.

Язык, призванный быть средством общения, у Иудушки используется как средство обмана и одурачивания своих жертв. Вся жизнь его — сплошное надругательство над словом, над духовной природой человека. Уже в детстве в ласковых словах Иудушки Арина Петровна чувствовала что-то зловещее: говорит он ласково, а взглядом словно петлю накидывает. И действительно, елейные речи героя не бескорыстны: внутренний их источник — стремление к личной выгоде, желание урвать у маменьки самый лакомый кусок.

По мере того как богатеет Иудушка, изменяется и его пустословие. Из медоточивого в детстве и юности оно превращается в тиранствующее. Подобно злему пауку, Иудушка в главе «По-родственному» испытывает наслаждение при виде того, как в паутине его липких слов задыхается и отдает Богу душу очередная жертва — больной брат Павел.

Но вот герой добивается того, к чему стремился. Он становится единственным и безраздельным хозяином головлевских богатств. Теперь его пустословие из тиранствующего превращается в охранительное. Привычными словоизвержениями герой отгораживает себя от жизни, отговаривается от «посягательств» родного сына Петра. Истерическая мольба сына о помощи и спасении глушится и отталкивается отцовским пустословием.

Наступает момент, когда никакое, даже самое действительное горе не в состоянии пробить брешь в нещадном Иудушкином словоблудии. «Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия». Охранительная болтовня постепенно вырождается в празднословие. Иудушка настолько привык лгать, ложь так срослась с его душой, что пустое слово берет в плен всего героя, делает его своим рабом. Он занимается празднословием без всякой цели, любой пустяк становится поводом для нудной словесной шелухи. Подадут, например, к чаю хлеб, Иудушка начинает распространяться, «что хлеб бывает разный: видимый, который мы *едим* и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы *вкушаем* и тем стяжаем себе душу...».

Празднословие отталкивает от Иудушки последних близких ему людей, он остается один, и на этом этапе существования его празднословие переходит в пустомыслие. Иудушка запирается в своем кабинете и тиранит воображаемые жертвы, отнимает последние куски у обездоленных мужиков. Но теперь это не более чем пустая игра развращенной, умирающей, истлевающей в прах души. Запой пустомыслия окончательно разлагает его личность. Человек становится фальшивкой, рабом обмана. Как паук, он запутывается в собственной липкой паутине слов. Надругательство Иудушки над словом оборачивается теперь надругательством слова над душой Иудушки.

Наступает последний этап — предел падения: запой праздномыслия сменяется алкоголем. Казалось бы, на этом уже чисто физическом разложении героя Щедрина и должен был поставить точку. Но он ее не поставил. Писатель верил, что именно на последней ступени падения жизнь мстит человеку за содеянное, и не сам по себе умирает такой разложившийся субъект — совесть просыпается в нем, но лишь для того, чтобы своим огненным мечом убить его.

На исходе Страстной недели, во время слушания в церкви «Двенадцати евангелий» вдруг что-то прорывается в душе Иудушки. До него неожиданно доходит истинный смысл высоких божественных слов.

«Наконец, он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливаясь перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядываясь в него. Наконец он решил. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он крадучись добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден зачочневший труп головлевского барина».

### «Сказки»

Над книгой «Сказок» Салтыков-Щедрин работал с 1882 по 1886. Эту книгу считают итоговым произведением писателя: в нее вошли все основные сатирические темы его творчества. Обращение сатирика к сказочному жанру обусловлено многими причинами. К 1880-м сатира Щедрина принимает все более обобщенный характер, стремится взлететь над злобой дня к предельно широким и емким художественным обобщениям. Поскольку общественное зло в эпоху 1880-х измельчало, проникло во все поры жизни, растворяясь в повседневности и вращаясь в быт, потребовалась особая сатирическая форма, преодолевающая будни жизни, мелочи повседневного существования. Сказка помогала Щедрину укрупнить масштаб художественного изображения, придать сатире вселенский размах, увидеть за русской жизнью жизнь всего человечества, за русским миром — мир в его общечеловеческих пределах. И достигалась эта «всемирность» путем вращивания в «народную почву», которую писатель считал «единственно плодотворной» для сатиры.

Нельзя не заметить, что в основе щедринских фантастики и гротеска лежит народный юмористический взгляд на жизнь, что многие фантастические его образы являются развернутыми фольклорными метафорами. И «органчик» у Брудастого, и «фаршированная голова» у Прыща в «Истории одного города» восходят к распространенным народным пословицам, поговоркам: «На тулово без головы шапки не пригонишь», «Тяжело голове без плеч, худо телу без головы», «У него голова трухой набита», «Потерять голову», «Хоть на голове-то густо, да в голове пусто». Богатые сатирическим смыслом народные присловья без всякой переделки попадают в описания Салтыковым-Щедриным глуповских бунтов и междоусобиц. Часто обращается сатирик и к народной сказочной фантастике, пока на закате своей жизни не находит в ней лаконичную форму для своих сатирических обобщений.

В основе сатирической фантазии итоговой книги Щедрина лежат народные сказки о животных. Писатель использует готовое, отточенное вековой народной мудростью содержание, освобождающее сатирика от необходимости развернутых мотивировок и характеристик. В сказках каждое животное наделено устойчивыми качествами характера: волк жаден и жесток, лиса коварна и хитра, заяц труслив, щука хищна

и прожорлива, осел беспросветно туп, а медведь глуповат и неуклюж. Это на руку сатире, которая по природе своей чуждается подробностей, изображает жизнь в наиболее резких ее проявлениях, преувеличенных и укрупненных. Поэтому сказочный тип мышления органически соответствует самой сути сатирической типизации. Не случайно среди народных сказок о животных встречаются сатирические сказки: «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» — яркая народная сатира на суд и судопроизводство, «О щуке зубастой» — сказка, предвосхищающая мотивы «Премудрого пискаря» и «Карася-идеалиста».

Заимствуя у народа готовые сказочные сюжеты и образы, Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. А фантастическая форма является для него надежным способом «эзоповского» языка, в то же время понятного и доступного самым широким, демократическим слоям русского общества. С появлением сказок существенно изменяется сам адресат щедринской сатиры, писатель обращается теперь к народу. Не случайно революционная интеллигенция 1880–90-х годов использовала щедринские сказки для пропаганды среди народа.

Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре группы: сатира на правительственные круги и господствующее сословие; сатира на либеральную интеллигенцию; сказки о народе; сказки, обличающие эгоистическую мораль и утверждающие социалистические нравственные идеалы.

К первой группе сказок можно отнести: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Богатырь», «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В сказке «Медведь на воеводстве» разворачивается беспощадная критика самодержавия в любых его формах. Рассказывается о царствовании в лесу трех воевод-медведей, разных по характеру: злого сменяет ретивый, а ретивого — добрый. Но эти перемены никак не отражаются на общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина первого в сказке говорится: «он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Зло заключается не в частных злоупотреблениях отдельных воевод, а в звериной, медвежьей природе власти. Оно и совершается с каким-то наивным звериным простодушием: «Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения». В сказке «Орел-меценат» Щедрин показывает враждебность деспотической власти просвещению, а в «Богатыре» история российского самодержавия изображается в образе гниющего богатыря и завершается полным его распадом и разложением.

Обличению паразитической сущности господ посвящены сказки о диком помещике и о двух генералах. Между ними много общего: и в том, и в другом случае Щедрин оставляет господ наедине, освобожденными от кормильцев и слуг. И вот перед «освобожденными» от мужика господами открывается один-единственный путь — полное одичание.

Беспримерная сатира на русскую интеллигенцию развернута в сказках о рыбах и зайцах. В «Самоотверженном зайце» воспроизводится особый тип трусости: заяц труслив, но это не главная его черта. Главное — в другом: «Не могу, волк не велел». Волк отложил съедение зайца на неопределенный срок, оставил его под кустом сидеть, а потом разрешил даже отлучиться на свидание с невестою. Что же руководило зайцем, когда он обрек себя на съедение? Трусость? Нет, не совсем: с точки зрения зайца — глубокое благородство и честность. Ведь он волку слово дал! Но источником этого благородства оказывается возведенная в принцип покорность — самоотверженная трусость! Правда, есть у зайца и некий тайный расчет: восхитится волк его благородством да вдруг и помилует.

Помилует ли волк? На этот вопрос отвечает другая сказка под названием «Бедный волк». Волк не по своей воле жесток, а «комплексия у него каверзная», ничего, кроме мясного, есть не может. Так в книге зреет мысль сатирика о тщетности надежд на милосердие и великодушие властей, хищных по своей природе и по своему положению в мире людей.

«Здравомысленный заяц», в отличие от самоотверженного, — теоретик, проповедующий идею «цивилизации волчьей трапезы». Он разрабатывает проект разумного поедания зайцев: надо, чтобы волки не сразу зайцев резали, а только бы часть шкурки с них сдирали, так что спустя некоторое время заяц другую бы мог представить. Этот «проект» — злая пародия Щедрина на теории либеральных народников, которые в реакционную эпоху 1880-х отступили от революционных принципов и перешли к проповеди «малых дел», постепенных уступок, мелкого реформизма.

«Здравомысленный заяц» в отличие от самоотверженного проповедует свои теоретические принципы. То же самое делает вяленая вобла в сравнении с премудрым пискарем. Премудрый пискарь жил и дрожал. Вяленая вобла переводит такую жизненную практику в разумную теорию, которая сводится к формуле: «уши выше лба не растут». Из этой формулы она выводит следующие принципы: «Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет». Но приходит срок — и проповедующая «умеренность и аккуратность» вяленая вобла обвиняется в неблагонадежности и отдается в жертву «ежовым рукавицам».

К сказкам о либералах примыкает «Карась-идеалист», она отличается грустной сатирической тональностью. В этой сказке Щедрин развенчивает драматические заблуждения русской и западноевропейской интеллигенции, примыкающей к социалистическому движению. Карась-идеалист исповедует высокие социалистические идеалы и склонен к самопожертвованию ради их осуществления. Но он считает социальное зло простым заблуждением умов. Ему кажется, что и щуки к добру не глухи. Он верит в достижение социальной гармонии через нравственное перерождение, перевоспитание щук.

И вот карась развивает перед щукой свои социалистические утопии. Два раза ему удается побеседовать с хищницей, отделившись небольшими телесными повреждениями. В третий раз случается неизбежное: щука проглатывает карася, причем важно, как она это делает. Первый вопрос карася-идеалиста «Что такое добродетель?» заставляет хищницу разинуть пасть от удивления, машинально потянуть в себя воду, а вместе с ней так же машинально проглотить карася.

Этой деталью Щедрин подчеркивает, что дело не в «злых» и «неразумных» щуках: сама природа хищников такова, что они проглатывают карасей произвольно — у них тоже «комплексия каверзная»!

Итак, тщетны все иллюзии на мирное переустройство общества, на перевоспитание хищных щук, орлов, медведей и волков. Перед сатириком вставал вопрос, какая сила решит исход освободительной борьбы. Писатель понимал, что этой силой должна быть сила народная. Однако русское крестьянство 1880-х годов не давало повода для оптимистических надежд. Щедрин всегда смотрел на мужика трезво и критически, он был далек как от славянофильской, так и от народнической его идеализации. Скорее, он преувеличивал политическую наивность и гражданскую пассивность мужика. Сочувствие сатирика народу основывалось на трезвом понимании законов исторического развития, в котором именно народу принадлежало решающее слово. Это понимание и заставляло Щедрина предъявлять к народу самые высокие требования и горько разочаровываться в том, что пока они неосуществимы.

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» два подхода Щедрина к оценке народа как явления «исторического» и как «воплотителя идеи демократизма» совмещены. Эта сказка — остроумный вариант «робинзонады».

Генералы, оказавшись на необитаемом острове, лишь доводят до логического конца людоедские принципы своей жизни, приступая буквально к взаимному поеданию. Только мужик является у Щедрина первоосновой и источником жизни, подлинным Робинзоном. Щедрин поэтизирует его ловкость и находчивость, его трудолюбивые руки и чуткость к земле-кормилице. Но здесь же с горькой иронией сатирик говорит о крестьянской привычке повиновения. Вскрывается противоречие между потенциальной силой и гражданской пассивностью мужика. Он сам вьет генералам веревку, которой они привязывают его к дереву, чтобы он не убежал. Узел всех драматических переживаний сатирика — в этом неразрешимом пока противоречии.

С особой силой эти переживания отразились в сказке «Коняга». Загнанный крестьянский коняга — символ народной жизни. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб». В основе конфликта сказки лежит народная пословица о «пустоплясах», изнеженных барских лошадях: «Рабочий конь — на соломе, пустоплас — на овсе». Народ вкладывал в пословицу широкий смысл: речь шла о голодных тружениках и сытых бездельниках.

В сказке ставится вопрос: где выход? — и дается ответ: в самом коняге. Окружающие его пустоплясы-интеллигенты могут сколько угодно спорить о его мудрости, трудолюбии, здравом смысле, но споры их кончаются, когда они проголодаются и начнут кричать дружным хором: «Н-но, каторжный, н-но!»

Драматические раздумья Щедрина о противоречиях народной жизни достигают кульминации в сказке «Кисель». Сначала ели кисель господа, «и сами наелись, и гостей употчевали», а потом уехали «на теплые воды гулять», кисель же свиньям подарили. «Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла». Смысл иносказания очевиден: сначала господа доводили народ до разорения, а потом им на смену пришли прожорливые буржуа. Но что же народ? Как ведет он себя в процессе его пожирания? «Кисель был до того размывчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели». Даже еще радовался: «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят!»

В сказках, высмеивающих мораль эксплуататоров и пропагандирующих социалистические принципы нравственности, проводится мысль о ненормальности нормального в обществе, где все представления о добре и зле извращены. Героя сказки «Дурак» Иванушку все окружающие считают дураком, так как он не может признать за норму эгоизм. Сатирик использует поэтическую традицию народных сказок об Иванушке-дурачке, оказывающемся на самом деле умным, смелым и находчивым.

С удивительной проникновенностью показывает Щедрин внутреннее родство социалистической морали с глубинными основами христианской народной культуры в сказке «Христова ночь». Пасхальная ночь. Тоскливый северный пейзаж. На всем печать сиротливости, все сковано молчанием, беспомощно, безмолвно и задавлено какой-то грозной кабалой... Но раздается звон колоколов, загораются бесчисленные огни, золотящие шпили церквей, — и мир оживает. Тянутся по дорогам вереницы деревенского люда, подавленного, нищего. Поодаль идут богачи, кулаки — властелины деревни. Все исчезают в дали проселка, и «новь наступает тишина, но какая-то чуткая, напряженная... И точно. Не успел заалеть восток, как совершается чудо: воскресает поруганный и распятый Христос для суда на этой грешной земле. «Мир вам!» — говорит Христос нищему люду: они не утратили веры в торжество правды, и Спаситель говорит, что приближается час их освобождения. Затем Христос обращается к толпе богатеев, мироедов, кулаков. Он клеймит их словом порицания и открывает им путь спасения — суд их совести, мучительный, но справедливый. И только предателям нет спасения. Христос проклинает их и обрекает на вечное странствие.

---

В сказке «Христовая ночь» Щедрин исповедует народную веру в торжество правды и добра. Христос вершит Страшный суд не в загробном мире, а на этой земле, в согласии с крестьянскими представлениями, заземлявшими христианские идеалы.

Неизменной осталась вера Салтыкова-Щедрина в свой народ, в свою историю. «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России, – писал Щедрин. – Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомяну минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России». Эти слова можно считать эпиграфом ко всему творчеству сатирика, гнев и презрение которого рождались из суровой и требовательной любви к Родине, из выстраданной веры в ее творческие силы, одним из ярчайших проявлений которых была русская классическая литература.